

# Харуки МУРАКАМИ

## МОЙ ЛЮБИМЫЙ SPUTNIK

СПУТНИК – 4 октября 1957 г. с космодрома “Байконур” (Казахская ССР) Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли – “Спутник-1”. Диаметр “Спутника – 1” – 58 см, вес – 83, 6 кг, он совершил один виток вокруг Земли за 96 мин 12 сек.

Месяц спустя, 3 ноября, так же успешно стартовал “Спутник-2” с собакой Лайкой на борту. Она стала первым животным, отправленным в космическое пространство, но, поскольку “Спутник-2” не вернулся обратно на Землю, Лайку постигла участь жертвы биологических исследований в космосе.

"Хроника Всемирной Истории", издательство “Коданся”

# 1

В ту весну Сумирэ исполнилось двадцать два года, и она впервые в жизни влюбилась. Сумасшедшая любовь обрушилась на нее, как смерч, способный вмиг опустошить бескрайнюю равнину: все, что имеет хоть какую-то форму и попадает на пути, он сметает под корень, без разбору швыряет в небо, ни за что ни про что кромсает в клочья и корежит до неузнаваемости, после чего, нимало не утратив мощи, уносится к Тихому океану, безжалостно рушит Ангкор Ват, по пути, в индийских лесах, испепеляет семейство несчастных тигров, в персидской пустыне превращается в самум и хоронит в песке целый экзотический город-крепость. В общем, любовь поистине монументальная. Человек, в которого Сумирэ влюбилась, был старше ее на семнадцать лет. Семейный человек. И кроме всего прочего – женщина. Вот с чего все началось. На этом все и закончилось. Почти все...

В то время Сумирэ буквально из кожи вон лезла, чтобы стать профессиональным писателем. Какое бы великое множество путей-дорог ни дарила ей жизнь, для Сумирэ не существовало иного выбора – писателем, и точка. Решимость ее была тверда, как тысячелетняя скала. Ни о каком компромиссе речи не шло. Смысл существования Сумирэ и ее вера в Литературу были плотно спаяны друг с другом – волосок бы не пролез.

Сумирэ окончила муниципальную повышенную среднюю школу<Повышенная средняя школа (или “школа второй ступени”) – школа для 15 – 18-летних учеников. (Здесь и далее прим. перев).  
**Переводчик выражает благодарность Юки Йосиока.** > в префектуре Канагава. Затем поступила на литературное отделение скромного и тихого частного института в Токио. Однако заведение было явно не для нее. Все, чему там учили, оказывалось неувлекательным, вялым и абсолютно неприменимым на практике – разумеется, в понимании Сумирэ. Ничто не соответствовало ее представлению о том, как оно должно быть. Короче – сплошное разочарование. Большинство окружающих студентов были безнадежными занудами, заурядными второсортными экземплярами, к числу которых, по правде сказать, принадлежал и я. Вот почему перед

третьим курсом Сумирэ с легким сердцем написала заявление и покинула стены института. Решила, что оставаться и дальше в таком месте, – лишь попусту тратить время. А может, она была права. Наверное. Однако, если можно, осмелюсь высказать здесь свою очень банальную, заурядную мысль. Мне кажется, в нашей далекой от совершенства жизни должно быть хоть чуточку бесполезного. Если все бесполезное улетучится, жизнь потеряет даже свое несовершенство.

В общем, Сумирэ была неисправимым романтиком, личностью весьма упертой, ко всему относилась несколько отстраненно и с долей скепсиса, но реальной жизни совсем не знала. Временами, если на нее находил стих поболтать, она могла говорить бесконечно. Правда, если собеседник оказывался “не ее человеком” по духу – а к таким относилась большая часть человечества, – она почти не раскрывала рта. Сумирэ дымила, как паровоз, а когда ехала в метро, обязательно – сто процентов – теряла билет. Частенько, погрузившись в свои мысли, начисто забывала о еде и была тощей, как военные сироты из старых итальянских фильмов, – одни глаза. Чем объяснять словами, лучше, конечно, просто показать ее фотографию, но, к сожалению, у меня нет ни одной. Она ужасно не любила сниматься и совсем не стремилась оставить потомкам “портрет Художника в юности”. Хотя если бы сохранились снимки Сумирэ того времени, они могли бы несомненно стать уникальным документом, запечатлевшим некие совершенно особые качества человеческой натуры. Но увы...

Забегая вперед, скажу, что женщину, в которую влюбилась Сумирэ, звали Мюу. По крайней мере, ее все так называли – уменьшительно. Ее настоящего имени я не знаю. (И не знал, из-за чего в один прекрасный день попал в довольно затруднительное положение, но об этом позже.) Мюу была корейкой, но почти ни слова не говорила по-корейски до двадцати с лишним лет, когда решительно взялась за изучение языка. Мюу родилась и выросла в Японии, стажировалась во французской Консерватории и поэтому, кроме японского, свободно владела французским и английским. Она была всегда безупречно и со вкусом одета, носила небольшие, но дорогие украшения – как-то буднично, равнодушно – и водила двенадцатицилиндровый темно-синий “ягуар”.

Когда они впервые встретились, Сумирэ заговорила о Джеке Керуаке. В то время Сумирэ нырнула в его книги с головой. Она периодически меняла своих литературных идолов, но тогда ее увлек уже несколько вышедший из

моды Керуак. У нее в кармане всегда лежали “На дороге” или “Одиноким странник”, и, как только выпадала минутка, Сумирэ утыкалась в книжку. Особо удачные строки она подчеркивала и заучивала наизусть, словно бесценные буддийские сутры. Больше всего ей в душу запал эпизод из “Одиноким странника” – о пожарной вахте в горах. На вершине стояла хижина, где Керуак провел три месяца один-одинешенек – работал пожарным наблюдателем.

Сумирэ цитировала эти строки:

**“Человек должен хоть раз в жизни оказаться в крошечной глуши, чтобы физически испытать одиночество, пусть даже задыхаясь при этом от скуки. Почувствовать, как это – зависит исключительно от себя самого, и в конце концов познать свою суть и обрести силу, ранее неведомую”.**

– Разве это не прекрасно? – спрашивала меня Сумирэ. – Каждый день стоишь на вершине, обзираешь окрестность на 360 градусов и высматриваешь, не поднимается ли из-за какой-нибудь горы черный дым. Вот и вся работа на целый день. А потом – читай любимые книги, пиши романы. По ночам вокруг хибары бродят огромные мохнатые медведи. Вот это жизнь – как раз то, что мне нужно! А моя учеба на литературном отделении? По сравнению с этим – бессмысленная, как кончик огурца.

– Есть только одна проблема: когда-нибудь все равно придется слезть с горы, – высказался я. Однако мое приземленное банальное суждение – впрочем, как и всегда – не вызвало в ее душе особых колебаний.

Сумирэ всерьез мучилась над тем, как бы ей стать похожей на героев Керуака, быть такой же “wild”, “cool” – дикой, крутой – и чтобы всего этого было “через край”. Ходила, засунув руки в карманы, волосы нарочно всклокочены и торчат в разные стороны. Носила очки в черной пластиковой оправе, как у Диззи Гиллеспи, хотя зрение имела вполне приличное, отсутствующим взглядом смотрела в небо. Обычно одевалась в мешковатый твидовый пиджак, который, похоже, купила в лавке старьевщика, и грубые тяжелые ботинки. Уверен – если б могла, она точно отпустила бы себе бороду и усы.

Сумирэ нельзя было назвать красавицей в обычном понимании. Щеки

впалые, рот широковат. Нос маленький, кончик слегка вздернут. Сумирэ чувствовала тонко, любила юмор, но сама редко смеялась в голос. Она была маленького роста, но даже в самом хорошем настроении говорила так, словно готова ринуться в бой. Вряд ли за всю свою жизнь Сумирэ хоть раз держала в руках губную помаду или карандаш для бровей. Сомневаюсь, знала ли она, что у лифчиков, вообще-то, существует размер. При всем том нечто в Сумирэ притягивало сердца. Что особенного в этой девушке – словами не объяснишь. Достаточно было просто заглянуть ей в глаза – там всегда отражалось это “нечто особенное”.

Ладно, что бродить вокруг да около... Я любил Сумирэ. С самых первых слов, которыми когда-то мы перекинулись, любовь захватила меня, и постепенно я понял: всё, назад дороги нет. Долгое время никого и ничего, кроме нее, для меня не существовало. Конечно, я несколько раз порывался рассказать ей о своих чувствах. Но почему-то, когда она была рядом, я никак не мог найти подходящие слова. А может, в конце концов даже и лучше, что так вышло. Ведь умудрись я как-то донести до нее свою любовь, она уж точно от смеха бы лопнула.

Покуда я “дружил” с Сумирэ, у меня было две-три девушки, и с ними я встречался. (Не то чтобы я не помнил, сколько их было точно. “Две-три” – зависит от того, как считать.) Если добавить еще и тех, с кем я спал всего раз или два, список окажется чуть длиннее. Когда мое тело занималось любовью с этими девушками, я часто думал о Сумирэ. То есть где-то в уголке моего мозга – иногда я чувствовал это сильнее, иногда слабее – надежно хранился ее образ. Часто, обнимая другую, я представлял, что на самом деле со мной Сумирэ. Конечно, с моей стороны это было не очень честно. Но что толку рассуждать “честно – нечестно”, если я просто не мог иначе.

Итак, вернусь к тому, как Сумирэ познакомилась с Мью.

Мью слышала раньше имя Джека Керуака и даже смутно припоминала: вроде он был писателем. Но что это был за писатель, она не помнила напрочь.

– Керуак? Хм... Это который был м-м... “спутником”, что ли?

Сумирэ сразу даже не поняла, о чем, собственно, речь. Нож с вилкой так и

застыли у нее в руках, и она задумалась.

– Спутник? Искусственный спутник Земли, который Советский Союз первым запустил в начале 50-х? Да, но Джек Керуак – американский романист. Ну да, по времени они, конечно, совпадают, но...

– А разве не так назывались тогда писатели вроде Керуака? – спросила Мюу и кончиком пальца очертила на столе круг. Словно память ее была сосудом причудливой формы, на дне которого она и пыталась на ощупь отыскать нужное воспоминание.

– Спутник?..

– Ну да, название литературного направления. Так ведь часто говорят: “Существует такая-то школа...” Точно-точно. Как “Сиракаба” <“**Сиракаба**” (яп. “белая береза”, 1910-1923) – литературная группа, с деятельностью которой связаны имена писателей-неогуманистов **Такэо Арисима, Наоя Сига, Санэацу Мусякодзи** >.

Тут, наконец, до Сумирэ дошло.

– Битник!

Мюу слегка промокнула губы салфеткой.

– Битник, спутник... Вечно я термины эти забываю. Всякие там “Рестарации Кэмму” <**Рестарация Кэмму (1334) – восстановление единоличной императорской власти в Японии императором Го-Дайго после периода, когда реальная власть в стране принадлежала военному правительству, т.н. “бакуфу”**. > , “Рапальские договоры”. Да ну их, все это – дремучая история.

Ненадолго воцарилось легкое молчание, как бы напоминая о течении времени.

– Рапальские договоры? – переспросила Сумирэ.

Мюу улыбнулась. Словно выдвинули ящик, к которому не прикасались целую вечность, и вытащили из его глубины на свет божий эту улыбку – милую улыбку близкого и родного человека. Мюу удивительно красиво

прищурилась. Затем протянула руку и узкими длинными пальцами еще больше взъерошила и без того торчавшие в разные стороны волосы Сумирэ – так просто и естественно, что Сумирэ невольно поддалась на этот жест и тоже улыбнулась.

С того дня Сумирэ стала про себя называть Мюу “мой любимый спутник”. Она обожала звучание этого слова – “спутник”. Напоминало о собаке Лайке. Искусственный спутник Земли бесшумно рассекает тьму космоса. Из маленького иллюминатора смотрят черные и такие славные собачьи глаза. Что вообще она там видела, эта псина, посреди бескрайнего космического одиночества?

Разговор о спутнике зашел на банкете по случаю свадьбы двоюродной сестры Сумирэ. Банкет устроили в фешенебельной гостинице в Акасака. Сумирэ не испытывала особой приязни к своей кузине (более того – на дух ее не переваривала), да и все эти обязательные приемы были для нее сущей пыткой. Просто в тот раз она почему-то не сумела отказаться. Их места с Мюу оказались рядом, за одним столом. Мюу особо не вдавалась в подробности: то ли она давала кузине Сумирэ уроки игры на фортепиано, когда та поступала в музыкальный институт, то ли как-то иначе ей помогала. Знакомы они были не давно и не близко, просто невеста хотела выразить Мюу свою признательность, потому и пригласила на свадьбу.

Сумирэ влюбилась моментально – в ту секунду, когда Мюу дотронулась до ее волос, – можно сказать, почти рефлекторно. Словно идешь по широкому полю, и вдруг – бабах! – тебя прошибает молния. В точности как божественное откровение, которое переживает Художник – вот так это было. И то, что Сумирэ угораздило влюбиться в женщину, в тот момент для нее не имело ровно никакого значения.

Насколько я знаю, у Сумирэ не было “любимого”, как это принято называть. В старших классах у нее водилось несколько приятелей – так, сходить в кино, поплавать вместе в бассейне. Но, думаю, все это для Сумирэ было не очень серьезно. Почти все ее мысли постоянно и неизменно занимало лишь одно страстное желание: стать писателем. Не похоже, чтобы Сумирэ могла так же сильно, всем сердцем прикипеть к кому-то из тех молодых людей. Даже если у нее и был секс (или что-то вроде того) в старших классах, скорее всего, случалось это не по любви или влечению, а из “литературного любопытства”.

– Знаешь, а я правда не догоняю, что это за штука такая – “половое влечение”, – в один прекрасный день, незадолго до того, как бросить институт, поведала мне тайну Сумирэ. С исключительно серьезным лицом: она выпила уже пять “банана дайкири” и прилично набралась. – Ну как это вообще наступает, на что похоже? Ты бы сам как объяснил?.. Все это?

– Половое влечение – не то, что понимаешь мозгами, – изрек я свое очередное исключительно уместное замечание. – Оно просто существует – и все. Точка.

Сумирэ уставилась на меня и некоторое время пристально изучала мое лицо, будто перед нею возник механизм, приводимый в действие какой-то диковинной движущей силой. А затем, потеряв ко мне всякий интерес, переключилась на изучение потолка. На этом разговор иссяк. Видимо, она решила, что беседовать со мной на подобные темы – гиблое дело.

Сумирэ родилась в Тигасаки<**Тигасаки – город на побережье залива Сагами (Тихий океан) с населением более 200 тыс. чел. В сознании широкой японской общественности ассоциируется с Калифорнией, как о ней пела группа “Mamas & Papas”, яхты, серфинг и прочие радости сладкой жизни. Сам залив Сагами часто называют “восточный Майами-бич”**>. Ее дом стоял почти у самого океана, и часто ветер с песком сухо стучался в стекла. Отец Сумирэ был стоматологом и держал практику в Йокогаме. Он был невероятно красив – особенно впечатляла безукоризненная линия носа: благодаря ей он был очень похож на Грегори Пека времен “Завороженного”. К сожалению, как говорила сама Сумирэ, отцовский нос по наследству ей не достался. Ни ей, ни ее младшему брату. “Вот странно, – часто думала она, – ген, что вызвал к жизни такой красивый нос, просто куда-то исчез. А если он погребен где-нибудь на дне генетической реки? Ведь это же настоящий урон для Культуры”. Столь прекрасен был этот нос.

Не удивительно, что в Йокогаме и окрестностях невероятно красивый отец Сумирэ был легендой для всех женщин, которые хотели избавиться от разных зубных дефектов. Он вел прием в хирургической шапочке, натянутой до бровей, и большой марлевой маске. Пациенты лицезрели только уши и глаза доктора. Но даже в таком виде красота его была очевидна: прекрасный нос величественно и сексуально возвышался под маской. При первом же взгляде на него большинство пациенток заливались



краской и, забыв, что медицинская страховка здесь не работает, в мгновение ока влюбились.

Мать Сумирэ умерла еще молодой, в тридцать один год: у нее был врожденный порок сердца. Сумирэ тогда не исполнилось и трех лет. О матери она помнила одно – слабый запах ее кожи. Фотографий мамы почти не осталось, всего две-три: официальная – со свадьбы – и несколько моментальных снимков с Сумирэ, сразу после родов. Сумирэ вытаскивала старые альбомы и часто их рассматривала. Если говорить только о внешности, мать Сумирэ – выражаясь самым деликатным образом – “не производила особого впечатления”. Маленького роста, прическа – никакая, при взгляде на одежду хотелось задать вопрос: “Что это было?”, на лице – неприятная усмешка. Казалось, сделай она шаг назад – и сольется со стеной. Сумирэ изо всех сил старалась впечатать в память черты материнского лица. Тогда, наверное, они смогли бы встретиться во сне, взялись бы за руки и стали говорить друг с другом. Говорить и говорить. Но ничего не получалось. Как только Сумирэ начинало казаться: все, запомнила! – это лицо тут же уплывало из памяти. Куда там во сне – если бы они столкнулись на дороге средь бела дня, Сумирэ, скорее всего, прошла бы мимо, так маму и не узнав.

После маминой смерти отец почти никогда вслух не вспоминал о ней. Он вообще был не слишком разговорчив и, кроме того, стремился избегать любых проявлений чувств, словно эмоции – сродни инфекционным заболеваниям полости рта. Сама Сумирэ не помнила, чтобы когда-нибудь расспрашивала отца о маме. Пожалуй, лишь раз, еще совсем маленькой, она почему-то спросила: “А какой вообще была моя мама?” Тот разговор с отцом отпечатался в ее памяти очень четко.

Отец отвел взгляд и ненадолго задумался. Затем произнес: “У нее была очень хорошая память. И красивый почерк”.

Ну не странное ли описание человека? Я-то считаю, он должен был сказать своей маленькой дочке такое, что отложилось бы глубоко в ее сердце. Какие-то слова, которые смогли бы дальше согреть и питать ее душу. Ведь в жизни здесь, на третьей планете Солнечной системы, дочери надеяться особенно не на что, и слова эти как раз могли бы стать для нее стержнем и опорой, когда все идет вкривь и вкось. Сумирэ ждала, затаив дыхание: открыта первая белоснежная страница блокнота. Но увы, ее

красавец-отец не сумел сказать этих слов, хоть и должен был суметь. Такой вот человек.

Когда Сумирэ исполнилось шесть лет, отец снова женился, и через два года на свет появился ее младший брат. Красотой новая мама Сумирэ тоже не отличалась. Еще у нее не было никакой выдающейся памяти, да и почерк – совсем неважный. Однако она была человеком добрым и справедливым. Маленькой Сумирэ, автоматически ставшей ее приемной дочерью, можно сказать, просто повезло. Нет, все-таки “повезло” – не то слово. Ведь как ни крути, выбор сделал отец. Насколько хорошим отцом он был – это еще вопрос, но вот в выборе спутницы жизни неизменно сохранял ум и реалистичный взгляд на вещи.

За все отрочество, которое у Сумирэ тянулось довольно долго, любовь мачехи к ней ни разу не пошатнулась. Даже когда Сумирэ заявила, что собирается бросить институт и заняться сочинением романов, мачеха, вообще говоря, с уважением отнеслась к такому стремлению, хотя у нее самой, конечно, имелось на этот счет свое мнение. Она радовалась, что Сумирэ с раннего детства запоем читала книги, и всегда это поощряла.

Некоторое время мачеха всячески уговаривала отца, и в результате они договорились так: пока Сумирэ не исполнится двадцать восемь, отец поддерживает ее деньгами. Но если за это время ничего путного из дочери не выйдет, дальше она заботится о себе сама. Если бы не мачеха, Сумирэ – без гроша в кармане, толком не зная правил игры и не умея держать равновесие, – наверняка выбросило бы посреди того, что называют “реальностью”. То есть – в дикую пустыню, которой не очень свойственно чувство юмора. (Конечно, Земляне вращается вокруг Солнца только для того, чтобы разбиться в лепешку, но обрадовать человека и сделать его счастливым.) И это еще не самое худшее, что могло случиться с Сумирэ.

Сумирэ встретила своего “любимого спутника”, когда прошло чуть больше двух лет после того, как она бросила институт.

В то время она снимала однокомнатную квартиру в Китидзёдзи: минимум мебели и максимум книг. Просыпалась где-то в полдень, а во второй половине дня с энергией странника, прокладывающего себе путь в горах, отправлялась в парк Иногасира. В хорошую погоду сидела там на лавочке, жевала хлеб, одну за другой курила сигареты и читала книги.

Когда шел дождь или было холодно, Сумирэ отправлялась в одно вымирающее кафе, где всегда громко играла классическая музыка. Забиралась с книжкой на обтрепанный диван, читала и слушала с очень серьезным лицом: в один день – симфонии Шуберта, в другой – кантаты Баха. Вечером дома выпивала банку пива и ужинала готовой едой из супермаркета.

В десять вечера Сумирэ садилась за стол. До краев наполненный кофейник, большая кружка, которую я подарил ей на день рождения, с портретом Снусмумрика, пачка “Мальборо” и стеклянная пепельница. Все, что нужно. Ну и, конечно, “вапро” < **“Вапро” (от искаж. англ. word processor) – персональный компьютер с единственной функцией текстового редактора. В настоящее время не выпускаются.** >. На каждой клавише – по одному письменному знаку.

Глубокая тишина. Голова ясная, как ночное небо зимой. Большая Медведица и Полярная звезда – на месте, где им положено быть, мерцают самым надлежащим образом. И Сумирэ так много следует написать. Рассказать столько историй. Только бы найти правильный выход – хотя бы один – для раскаленных идей и мыслей. Тогда они лавой прорвутся наружу, и, несомненно, одно за другим на свет родятся исключительно оригинальные, интеллектуальные произведения. Люди наверняка вытаращат от изумления глаза, когда на литературной арене внезапно появится “новый масштабный автор, обладающий редким талантом”. В газетных колонках культуры появятся фотографии Сумирэ с ее классной – “cool” – улыбкой, редакторы будут обивать ее порог.

Однако, к сожалению, ничего подобного не произошло. Дело в том, что Сумирэ так и не смогла заставить себя написать произведение, в котором были бы и начало, и конец.

Сумирэ на самом деле не знала, что такое “творческий тупик”, и могла писать сколько угодно. Страдания типа “не могу написать ни строчки” были ей неведомы. Все, что сидело в голове, – одно за другим – Сумирэ легко обращала в предложения. Ее проблема заключалась в другом. Она писала чересчур много. Казалось бы: если написал слишком много, просто выкинь все лишнее, и дело с концом. Но для Сумирэ проблема так просто не решалась, поскольку сам автор не мог оценить, что нужно, а что нет, с точки зрения целого произведения. Когда утром она прочитывала

напечатанное накануне, ей казалось, что либо из текста невозможно выбросить ни единой фразы, либо лучше вообще все уничтожить. Иногда в приступе отчаяния она рвала в клочья и выкидывала целую рукопись. Если бы дело было зимой, а в квартире Сумирэ горел камин, все это очень бы напоминало “Богему” Пуччини. Да и в комнате бы стало теплее. Но в ее однокомнатной квартире, разумеется, никакого камина не было. Куда там – не было даже телефона. Не говоря уже о мало-мальски приличном зеркале.

На выходных Сумирэ сгребала в кучу написанные страницы и заявлялась ко мне. И хотя притаскивала она только тех счастливчиков, которым удалось избежать геноцида, все равно страниц было довольно много. Во всем огромном мире для Сумирэ существовал лишь один-единственный человек, которому она могла показать свою рукопись: я.

В институте я учился двумя курсами старше, специальности у нас были разные, и наши пути особо не пересекались, так что познакомились мы с Сумирэ абсолютно случайно. Был май, первый понедельник после весенних праздников, я стоял на автобусной остановке неподалеку от главного входа в наш институт и читал роман Поля Низана, который нарыл в букинистической лавке. Стоявшая рядом миниатюрная девушка, привстав на цыпочки, заглянула в мою книгу и спросила: “А чего ради читать сегодня какого-то Низана?” Вопрос был задан весьма враждебным тоном. Казалось, девушку распирало желание садануть ногой по какому-нибудь предмету, но за неимением чего-либо подходящего пришлось ограничиться вопросом. По крайней мере, я так это почувствовал.

Если говорить обо мне и Сумирэ вместе, во многом мы были очень похожи. Оба одинаково жадно читали книги – для нас это было так же естественно, как дышать. Когда выпадало свободное время, мы любили найти какое-нибудь спокойное место и там в одиночестве читать – бесконечно, страницу за страницей. Японские романы и зарубежные, новые произведения и старые, авангардистские и бестселлеры – если в них что-то возбуждало извилины, вопросов не было: книга оказывалась у нас в руках, и мы принимались за чтение. Мы рыскали по библиотекам, могли прекрасно провести время, целый день бродя по букинистическим магазинчикам в Канда. Впервые в жизни я встретил человека, который читал так же глубоко, много и жадно (я-то – понятное дело, но не обо мне речь). И у Сумирэ от встречи со мной осталось такое же впечатление.

Сумирэ завязала с учебой приблизительно в то же время, когда я заканчивал институт, но и потом она появлялась у меня дома два-три раза в месяц. Бывало, я тоже заходил к ней, но, поскольку места для двоих там точно не хватало, чаще Сумирэ приходила ко мне. Встречаясь, мы болтали в основном о прочитанных романах, обменивались книгами. Частенько я готовил Сумирэ ужин. Мне это было не трудно – тем паче, она относилась к тому типу людей, которые лучше умрут с голоду, чем что-нибудь для себя приготовят. В благодарность Сумирэ притаскивала для меня отовсюду, где подрабатывала, всякую всячину. Однажды со склада фармацевтической компании приволокла шесть пачек презервативов, по двенадцать штук в каждой. Наверное, до сих пор валяются у меня в каком-то ящике.

Романы (или их фрагменты), которые тогда писала Сумирэ, были вовсе не так ужасны, как ей казалось. Она еще не набила руку, чтобы писать тексты профессионально, и временами ее стиль напоминал лоскутное одеяло, которое в глубоком молчании сшила группа упрямых теток, у каждой – свой вкус, свои болячки. Когда на этот рваный стиль накладывались особенности маниакально-депрессивной личности Сумирэ, письмо становилось просто неуправляемым. В довершение всего Сумирэ тогда была одержима идеей написать “полномасштабный роман” в духе грандиозных творений XIX века, который был бы под завязку напичкан всяческими феноменальными явлениями Души и Судьбы.

Тексты Сумирэ страдали определенными изъянами, но в них чувствовалась удивительная свежесть и читалось стремление автора прямо и до конца откровенно говорить о том важном, что было на душе. В любом случае Сумирэ не пыталась копировать чей-либо стиль или же ловко придавать своим вещам некую нужную форму. Мне это очень нравилось. Нельзя было лишать ее тексты энергии прямоты и открытости ради аккуратной, удобоваримой литературной формы. В любом случае особо волноваться за Сумирэ не стоило, ведь у нее впереди еще было столько времени, чтобы, шагая по дороге жизни, заглянуть во все места, куда заблагорассудится. Как гласит пословица, “хорошо растет то, что растет медленно”.

– Знаешь, в моей голове столько всего, о чем я хотела бы написать. Не голова – амбар какой-то! – говорила Сумирэ. – Разные образы, сцены, обрывки слов, облики людей – временами я вижу их как наяву: все залито ярким светом, все движется. Я слышу, как они кричат мне: “Пиши!” И предвкушаю начало замечательного рассказа. Мне кажется, я могу

переместиться в какое-то новое место. Но как только приземляюсь за письменный стол и начинаю писать, тут же понимаю: что-то очень важное безвозвратно пропало. Нет никаких кристаллов – одна мелкая галька. И я никуда не улетаю.

Сумирэ нахмурилась, подобрала с земли уже, наверно, двухсотпятидесятый камушек и кинула его в пруд.

– Все-таки у меня чего-то не хватает, как с самого начала не было, – без чего никогда не станешь писателем. Чего-то очень важного.

На какое-то время повисло мертвое молчание. Казалось, она хотела услышать мою очередную банальную мысль.

Подумав, я начал.

– В древнем Китае города окружались высокими крепостными стенами, в которых было по несколько больших, прекрасных ворот. Считалось, что у ворот есть особый важный смысл: это не просто двери, через которые входят и выходят. Люди верили, что в воротах обитает или должен обитать некий дух города. Так же, как в средневековой Европе сердцем города было принято считать храм и площадь. Вот почему и сегодня в Китае сохранилось множество великолепных ворот. Ты знаешь, что делали древние китайцы, когда их строили?

– Нет, не знаю.

– Брали телеги и шли в те места, где когда-то шли бои. Там собирали уже побелевшие от времени кости воинов, погребенные под слоем земли или разбросанные на поверхности. Собирали все, что могли собрать. В Китае, с его богатой историей, таких мест хоть отбавляй. Потом у входа в город сооружали огромные ворота, в которые замуровывали эти кости. Для чего? Китайцы верили, что погибшие воины будут защищать город, поскольку их души, наконец, обрели покой. Да, и вот еще что. Когда ворота уже были готовы, китайцы приводили несколько собак, кинжалом перерезали им горло и окропляли ворота еще теплой собачьей кровью. Лишь когда высохшие кости соединяются со свежей кровью, старые души вновь наполняются сверхъестественной силой. Так полагали китайцы.

Сумирэ молча ждала продолжения.

– Когда пишешь книгу, происходит почти то же самое. Ты можешь собрать уйму костей и отгрохать прекрасные ворота, но книга – живая, дышащая – так и не получится. Истории в каком-то смысле к этой нашей реальности не имеют никакого отношения. Чтобы увязать друг с другом две плоскости – “Здесь” и “Там”, – для настоящей Истории необходимо таинство Крещения.

– Значит, я должна где-то раздобыть себе собаку, так? Я кивнул.

– А потом я должна пролить теплую кровь...

– Наверно.

Закусив губу, Сумирэ ненадолго ушла в свои мысли. Еще несколько несчастных камешков полетели в пруд.

– Если можно, я бы очень не хотела убивать животных...

– Конечно, это метафора, – сказал я. – Тебе вовсе не нужно по-настоящему убивать собак.

Как обычно, мы сидели рядом в парке Иногасира на любимой лавочке Сумирэ. Перед нами раскинулся пруд. Ветра не было. Опавшие листья качались на волнах, словно их плотно приклеили к поверхности. Неподалеку кто-то жег костер. В воздухе клубились ароматы конца осени, далекие звуки слышались невероятно отчетливо.

– Тебе, наверно, нужны просто время и опыт. Я так думаю.

– Время и опыт, – повторила Сумирэ и посмотрела в небо. – Время и так само по себе течет быстро. А опыт? Не говори мне об этом. Я вовсе этим не горжусь, но ведь у меня даже полового влечения никакого нет. О каком опыте может идти речь, если у писателя отсутствует половое влечение? Как повар без аппетита.

– Насчет влечения ничего не могу сказать, – ответил я. – Может, оно просто спряталось в каком-нибудь углу. Или же отправилось в далекое путешествие и забыло вернуться. А вообще любовь – такая абсолютно нелепая штука. Является ниоткуда, внезапно, и всё – попался. Может, это завтра случится, кто знает?

Сумирэ отвлеклась от неба и перевела взгляд на мое лицо.

– Как смерч над равниной?

– Можно сказать и так.

Некоторое время она представляла, как смерч проносится над равниной.

– Скажи, а ты сам видел когда-нибудь смерч?

– Нет, – ответил я. – Мусасино<**Мусасино – город в префектуре Токио.** >

– все-таки не то место, где можно встретить настоящий смерч. К счастью, надо сказать.

И вот, в один прекрасный день почти полгода спустя, как раз и случилось то, что я тогда чудесным образом предсказал. Сумирэ влюбилась – внезапно и несуразно. Со страстью смерча, налетевшего на равнину. В замужнюю женщину, на семнадцать лет ее старше – в своего “любимого спутника”.

Оказавшись на свадьбе за одним столом, Мюу и Сумирэ, как и большинство людей в подобной ситуации, друг другу представились. Сумирэ терпеть не могла свое имя и по возможности старалась его лишней раз не произносить. Но все-таки если спрашивают, как тебя зовут, нельзя не ответить – хотя бы из соображений этикета.

По словам отца, имя “Сумирэ”<**Сумирэ (яп.) – фиалка.** > выбрала ее покойная мать. Она обожала песню Моцарта “Фиалка” и давным-давно решила, что если у нее родится дочь, она обязательно назовет ее “Сумирэ”. В гостиной на полке стояли “Песни Моцарта” – наверняка мама слушала именно эту пластинку, – и в детстве Сумирэ брала в руки тяжелый долгоиграющий диск, аккуратно ставила его на проигрыватель и по многу раз подряд слушала “Фиалку”. Элизабет Шварцкопф – вокал, Вальтер Гизекинг – партия фортепиано. Слов она не понимала, но, слушая изящную мелодию, была уверена, что в песне поется о красоте фиалок, растущих в поле. Она представляла себе такую картину и очень любила этот образ.

Какой же шок испытала Сумирэ, когда обнаружила в школьной библиотеке японский перевод слов этой песни... Оказалось, поется в ней об одинокой фиалке девственной красоты, которая спокойно росла себе в поле, пока



трагически не погибла под башмаком какой-то беззаботной дочери пастуха. Причем девчонка даже не заметила, что раздавила цветок. Это было стихотворение Гёте, но в нем не было ничего утешительного или хотя бы поучительного.

– Почему же маме понадобилось выбрать для моего имени название этой чудовищной песни? – надулась Сумирэ. Мюу расправила кончики салфетки у себя на коленях и, улыбнувшись, посмотрела на девушку. Глаза Мюу были удивительно глубокого цвета. Намешано множество оттенков, но ни единой тени, ни облачка.

– А как вы думаете, мелодия этой песни прекрасна?

– Да, пожалуй. Мелодия, сама по себе – да.

– Знаете, для меня, если музыка прекрасна – этого достаточно. И потом, кто сказал, что все, чем мы довольствуемся в этом мире, должно быть исключительно красивым и безупречным? Ваша мама могла и не думать о каких-то словах – ей нравилась музыка. Но если вы так и будете сидеть и хмуриться, наверняка заработаете себе ранние морщины.

Сумирэ как-то справилась со своей недовольной гримасой.

– Возможно, вы и правы. Но меня это так угнетает, вы себе не представляете. Ведь имя – единственное, что осталось мне от мамы. Ну конечно, есть еще и **я сама**, но сейчас речь не об этом.

– Послушайте, “Сумирэ” – прекрасное имя. Мне очень нравится, – произнесла Мюу и чуть наклонила голову набок, словно предлагая взглянуть на вещи под несколько иным углом. – Кстати, ваш отец тоже здесь?

Сумирэ оглянулась и нашла глазами отца. Хотя они праздновали в огромном зале, сделать это оказалось нетрудно – отец был довольно высокого роста. Он сидел через два стола от Сумирэ, повернувшись в профиль, и о чем-то говорил со своим собеседником – невысоким пожилым мужчиной в morning coat (**Morning coat {англ.} – сюртук для утренних визитов.** >, судя по виду, человеком открытым и прямым. На губах отца играла улыбка – теплая, обезоруживающая настолько, что, казалось, способна растопить даже новехонький айсберг. Свет люстры мягко

подчеркивал благородные очертания отцовского носа, вызывая в памяти силуэты эпохи рококо. Даже Сумирэ, привыкшая созерцать этот нос постоянно, не могла вновь не поразиться его красоте. Ее отец абсолютно гармонично вписывался в это формальное сборище. Само его присутствие придавало атмосфере этого места блеск и великолепие. Словно букет свежих цветов в большой вазе или ослепительно черный “стретч-лимузин”.

Увидев отца Сумирэ, Мюу на миг потеряла дар речи. Сумирэ услышала, как из ее груди вырвался легкий вздох. Когда тихим утром подкрадываешься к бархатной портъере, резко ее отдергиваешь и солнечным лучом будишь кого-то, очень для тебя важного, – вот как прозвучал этот вздох. “Наверно, стоило бы прихватить с собой театральный бинокль”, – подумала Сумирэ. Впрочем, она уже давно привыкла к тому, что внешность отца драматическим образом действует на людей, в особенности – на женщин среднего возраста. А что вообще такое – эта “красота”, в чем ее ценность? – всегда удивлялась Сумирэ. Однако никто не мог толком ответить на этот вопрос. Ясно одно: есть в красоте нечто такое, что действует на людей.

– Скажите, иметь такого красивого отца – это для вас как? – поинтересовалась Мюу. – Так, чисто из любопытства спрашиваю.

Сумирэ вздохнула: сколько же раз в жизни ей задавали этот вопрос? – и ответила:

– Ничего особо приятного в этом нет. Все думают одинаково: “Вот – абсолютно красивый мужчина. Просто чудо! А вот – его дочь, так, ничего особенного”. И делают заключение: “Не иначе – какой-то атавизм”.

Мюу повернулась к Сумирэ и, слегка выпятив подбородок, стала рассматривать ее лицо. Словно остановилась в музее перед понравившейся картиной, чтобы рассмотреть ее получше.

– Неужели вы и вправду все это время так считали? Как это неправильно! Вы – очень красивая девушка. Отцу-то уж точно не уступаете! – сказала Мюу. После чего протянула руку и как-то очень естественно коснулась пальцев Сумирэ. – Вы даже не знаете, насколько вы обаятельны.

Лицо Сумирэ запылало. Сердце громко забилося в груди – словно обезумевшая лошадь понеслась бешеным галопом по деревянному мосту.

Они проговорили друг с другом весь остаток вечера, не замечая, что происходит рядом. Вокруг гудела свадьба. Люди вставали и произносили какие-то слова (должно быть, отец Сумирэ – тоже), да и еда, вроде, была вполне приличной. Но в памяти не осталось ни единого воспоминания. Что ела – рыбу, мясо? Как ела – демонстрируя хорошие манеры, пользовалась вилкой с ножом или хватала пищу руками и облизывала тарелки? В памяти – полный провал.

Они говорили о музыке. Сумирэ обожала классику и еще в детстве любила копаться в пластинках, которые собирал отец. Музыкальные вкусы Мью и Сумирэ во многом совпадали. Обе любили фортепианную музыку и считали, что значительнее 32-й сонаты Бетховена для этого инструмента ничего не написано. А запись этой сонаты в исполнении Вильгельма Бакхауза, выпущенная компанией “Декка”, его трактовка – безусловно образец для подражания, великолепная игра, которой нет равных. И при этом в трактовке Бакхауза столько счастья, столько радости жизни!

А произведения Шопена, записанные еще в эпоху моно, особенно скерцо в исполнении Владимира Горовица – без сомнения, они просто “thrilling” <**Thrilling (англ.) – волнующий, захватывающий.** >. Прелюдии Дебюсси у Фридриха Гульды прекрасны и полны юмора. А Григ – как он хорош у Гизекинга, какую вещь ни возьми. Прокофьев, когда его играет Святослав Рихтер – здесь есть рассудительная сдержанность и потрясающая глубина моментальных слепков настроения, почему и стоит слушать их очень внимательно. А Ванда Ландовска и сонаты Моцарта для фортепиано в ее исполнении – в них так много теплоты и бережного отношения к произведению: непонятно, почему критики не оценили эту работу пианистки по достоинству.

– А чем ты сейчас занимаешься в жизни? – спросила Мью, когда закончилась музыкальная часть их разговора.

Сумирэ объяснила:

– Я бросила институт, иногда подрабатываю понемногу в разных местах, а вообще-то пишу роман.

– Какой роман? – поинтересовалась Мью.

– В двух словах сложно объяснить.

– Ладно, – сказала Мью. – А какие книги тебе нравятся?

– Все перечислить просто невозможно. Вот в последнее время главным образом читаю Джека Керуака, – ответила Сумирэ. После чего как раз и завязался тот самый разговор о “спутнике”.

Если не считать несколько легких вещей, прочитанных от нечего делать, Мью почти совсем не брала в руки романов.

– Никак не могу избавиться от мысли, что все в этих книгах ненастоящее, вымышленное, поэтому персонажи не вызывают у меня никаких чувств, – объяснила она. – Всегда так было. – Поэтому ее чтение ограничивалось книгами, в которых реальность описывалась как реальность. То есть почти все, что читала Мью, было нужно ей для работы.

– А чем вы занимаетесь? – спросила Сумирэ.

– Моя работа в основном связана с другими странами, – ответила Мью. – Почти тринадцать лет назад мне по наследству досталась торговая компания, которой руководил отец. Сама-то я готовилась стать пианисткой, но отец умер от рака, у мамы было слабое здоровье, да и по-японски она не говорила достаточно свободно, брат еще учился в школе, а я была старшим ребенком в семье. Вот и пришлось поневоле стать ответственным лицом компании, заняться ее делами. К тому же у нас было несколько родственников, чья жизнь напрямую зависела от фирмы, поэтому я не могла просто взять и свернуть бизнес. – Словно поставив точку в рассказе, Мью коротко вздохнула. – Раньше компания отца по большей части импортировала из Кореи сушеные продукты и лекарственные травы, но сегодня мы работаем с более широким ассортиментом. Вплоть до деталей компьютеров. Формально и сегодня главой компании числюсь я, но все дела ведут мой муж и младший брат, так что мне вовсе не нужно сидеть там с утра до ночи. И сейчас я больше занимаюсь собственным бизнесом, вне компании.

– Каким?

– В основном – импорт вин. Ну, иногда еще разные музыкальные проекты. Все время курсирую между Европой и Японией. Ведь в моем бизнесе все движется и пульсирует, только если сам вкладываешь много усилий. Наверное, поэтому я умудряюсь одна работать вполне на равных с

лучшими торговыми компаниями на рынке. Нужно столько времени и сил, чтобы наладить свою сеть, поддерживать бизнес на должном уровне. Впрочем, как иначе... – После этих слов Мюу, будто вспомнив о чем-то, подняла глаза на Сумирэ. – Кстати, ты говоришь по-английски?

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)